



**УИЛЬЯМ**

**ФОЛКНЕР**

**НЕПОБЕЖДЕННЫЕ**

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

**Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А**

Эксклюзивная классика (АСТ)

Уильям Катберт Фолкнер

## **Непобежденные**

«Издательство АСТ»

1938

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Сое)-44

**Фолкнер У.**

Непобежденные / У. Фолкнер — «Издательство АСТ»,  
1938 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-154670-0

Небольшой роман, созданный на основе раннего цикла рассказов Фолкнера, над которыми писатель работал много лет, переписывая его и сводя в единое целое. Семь историй из жизни маленького городка Йокнапатофа во время Гражданской войны и Реконструкции Юга, рассказанных взрослеющим Баярдом Сарторисом, который проходит путь от восторженного мальчика до молодого мужчины. Истории о веселых приключениях, дружбе, любви и смерти. Истории о войне, которую никогда не забудут южане, считающие себя непобежденными.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-154670-0

© Фолкнер У., 1938  
© Издательство АСТ, 1938

# Содержание

Засада	6
Отход	19
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Уильям Фолкнер Непобежденные

William Faulkner  
The Unvanquished

© William Faulkner, 1938

© Перевод. О. Сорока, наследники, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

\* \* \*

## Засада

### 1

В то лето у нас – у меня и Ринго – на пустырьке за коптильной было поле Висксбергской осады и битвы. Пусть Висксберг изображала у нас горсть щепок, подобранных у пленницы, а Реку обозначала рытвина, продолбленная краешком мотыги в плотно спекшейся земле, но макет этот наш (Река, город, окрестности) при всей своей малости давал ощутить непокорную, хоть и недвижимую, мощь земных складок, пред которой слаба артиллерия, эфемерны трагичнейшие поражения и блистательнейшие победы, что отгрохотали – и нет их. Эта «живая карта» была для нас живою уже потому, что иссушенная земля пила воду, выпивала быстрее, чем мы успевали таскать от родника, так что подготовка поля к битве обращалась в затяжное и почти напрасное мученье; мы с дырявым ведром нескончаемо мотались высунув язык между родниковым навесом и нашей рытвинкой-рекой, ибо требовалось, объединив силы, одолеть сперва общего врага – время, чтобы затем уж разделиться и разыграть, неукоснительно исполнить обряд яростного и победоносного сражения, отгородясь им, точно занавесом и щитом, от роковой реальности, от факта. И в этот послеполуденный час нам казалось, что русло так и не напьется, не отсыреет даже – ведь и росы не выпадало вот уже недели три. Но наконец Река увлажнилась, по крайней мере, влажно потемнела, и можно теперь начинать. Мы собрались начать. Но подошел неожиданно Люш (Ринго ему племянник; Люш – сын старого Джоби). Возник откуда-то, явился незамеченный и встал под свирепю и тупо разящим солнцем с непокрытой головой, нескособоченно и твердо принагнув эту литую, круглую, как пушечное ядро, голову, – как если бы ядро наспех, неглубоко, но намертво посадили в бетон, – и глядит глазами, чуть покрасневшими с внутренних углов (как бывает у негров хмельных), на то, что Ринго и я наименовали Висксбергом. Тут я увидел у пленницы Филадельфию, жену Люша, – набрала на руку дров, еще не разогнулась и смотрит Люшу в спину.

– Это что тут? – спросил Люш.

– Висксберг, – ответил я.

Люш засмеялся. Стоял и негромко смеялся, глядя на щепки.

– Иди же сюда, Люш, – позвала Филадельфия. Что-то странное было и в ее голосе тоже – торопливость напряженная какая-то; возможно, испуг. – Хочешь ужинать, так дров поднеси мне.

Испуг ли то был или просто она торопилась? Люш не дал мне вдуматься, решить, потому что присел вдруг и – мы и шевельнуться не успели – повалил рукою щепки.

– Вот так с вашим Висксбергом случилось, – сказал он.

– Люш! – позвала Филадельфия. Но Люш, не подымаясь с корточек, глядел на меня с этим особым выражением на лице. Мне было всего двенадцать; я еще не знал, что это выражение торжества; я и слова такого не знал – торжество.

– И еще с одним городом то же, а вам и не известно, – сказал он. – С Коринтом.

– С Коринтом? – переспросил я. Филадельфия, бросив дрова, быстро шла к нам. – Он тоже в нашем штате, в Миссисипи. Недалеко. Я был там.

– А хотя б и далеко, – произнес Люш. В голосе его послышалась напевность; он сидел на корточках, подставив свирепому солнцу чугунный свой череп и плоский скат носа и уже не глядя на меня и Ринго; воспаленные глаза Люша словно повернулись зрачками назад, а к нам – тыльной, слепой стороной глазного яблока. – Хотя б и далеко. Потому что все равно уж на подходе.

- Кто на подходе? Куда на подходе?
- Спроси папу своего. Хозяина Джона.
- Он в Теннесси воюет. Как я его спрошу?
- В Теннесси он, думаешь? Незачем ему уже там быть.

Тут Филадельфия схватила Люша за руку.

– Замолчи, негр! – крикнула она, и в голосе ее все та же крайняя звучала напряженность. – Иди, дрова неси!

Они ушли. Мы не смотрели им вслед, мы стояли над нашим поваленным Вексбергом и так усердно продолженной нами рытвинкой-рекой, уже снова просохшей, и смотрели тихо друг на друга.

– О чем это он? – сказал Ринго. – О чем он?

– Да ни о чем, – сказал я. Нагнулся, опять поставил Вексберг. – Вот уже как было.

Но Ринго смотрел на меня недвижимо.

– Люш смеялся. Он сказал, что и с Коринтом то же. Радовался, что с Коринтом то же.

Он что-то знает, а мы не знаем?

– Ничего он не знает! – сказал я. – По-твоему, Люш знает то, чего отец не знает?

– Хозяин Джон в Теннесси. Может, там и ему неизвестно.

– По-твоему, он бы оставался где-то в Теннесси, если б янки уже в Коринте были? По-твоему, отец и генерал Ван Дорн и генерал Пембертон не были бы уже там все трое, если б янки туда дошли?

Но я понимал – слова мои слабы, потому что негры знают, им многое ведомо; слова тут не помогут, нужно что-то посильней, погромче слов. И я нагнулся, набрал пыли в обе горсти, выпрямился; а Ринго все стоит, не шевелится, смотрит, как я швыряю в него пылью.

– Я генерал Пембертон! – крикнул я. – Ура-а-а! Ур-ра-а-а!

Опять нагнулся, нагреб пыли, швырнул. А Ринго стоит как стоял.

– Ладно! – крикнул я. – Будь на этот раз ты генералом Пембертоном. А Грантом пусть уж буду я.

Потому что требовалась неотложная победа над тем, что неграм ведомо. По уговору нашему, сначала генералом Пембертоном два раза подряд бываю я, а Ринго – Грантом, генералом северян, а уж на третий раз я – Грант, Ринго – Пембертон, иначе он играть больше не станет. Но теперь наша победа не терпела отлагательств, и неважно, что Ринго тоже негр, – ведь мы с ним родились в один и тот же год и месяц, и оба выкормлены одной грудью, и ели-спали вместе столько уже лет, что и Ринго зовет мою бабушку «бабушка» – и, может, он уже не негр или же я не белый, мы оба с ним уже не черные, не белые, не люди, а неподвластнейшая поражению пара мотыльков, два перышка, летящих поверх бури. Так что, оба уйдя в игру, мы не заметили приближения Лувинии (Ринго – внук ей, она жена старого Джоби). Стоя друг против друга на расстоянии каких-нибудь двух вытянутых рук, невидимые друг другу за яростно и медленно вспухающим облаком пыли, мы с ним вопили: «Бей сволочей! Руби! Бей насмерть!» Но тут голос Лувинии опустился на нас, как ладонь великана, укротив даже взметенную пыль, так что теперь мы стали видимы – до бровей окрашенные пылью и с руками, еще поднятыми для швырка.

– Уймись, Баярд! Уймись ты, Ринго! – кричит она, стоя шагах в пяти от нас. На ней, я замечаю, нет старой отцовой шляпы, которую она непременно надевает поверх косынки, пусть даже всего на минуту выходя из кухни за дровами. – Что за слово такое я слышала? Как это вы обзывались? – И, не переводя дыхания, продолжает (бежала бегом, видно): – А кто к нам едет по большой дороге!

В один и тот же миг мы с Ринго рванулись из остолбенелой неподвижности – через двор и кругом дома, туда, где на парадном крыльце стоит бабушка, где Люш, обогнув дом с другой стороны, тоже встал у крыльца и глядит на ворота, что в конце въездной аллеи. Когда отец

весною приезжал, мы с Ринго побежали аллеей навстречу и вернулись – я стоя в стремени, обхваченный рукой отца, а Ринго – держась за другое стремя и не отставая от коня. Но сейчас к воротам мы не кинулись. Я на крыльце рядом с бабушкой, а Ринго с Люшем внизу, у ступенек, – вместе мы глядели, как Юпитер, соловый жеребец, входит в ворота, постоянно теперь растворенные, идет по аллее. Они приближались: большой костлявый конь мастью почти под цвет дыма – светлей, чем дорожная пыль, что прилипла к его шкуре, мокрой с переправы, с брода в трех милях отсюда, – идет мерным ходом, который не шаг и не бег, как если б Юпитер весь путь из Теннесси шел этой мерной поступью без перерыва, ибо настало время преодолеть простор земли, забыв о сне и отдыхе и отбросив, отослав в нездешний край вечного и праздного досуга зряшную прыть галопа; и отец, тоже не просохший с переправы – сапоги от воды потемнели и покрыты тоже коркой пыли, серый походный мундир белесо выцвел на груди, на спине, на рукавах, и почти не блестят потускневшие пуговицы и вытертый полковничий галун, а сабля тяжело висит сбоку, не подскакивая на ходу, точно слитая с бедром. Отец остановил коня; взглянул на нас с бабушкой, на Ринго с Люшем.

– Здравствуйте, мисс Роза. Здорово, ребята.

– Здравствуй, Джон, – сказала бабушка.

Люш подошел, взял коня под уздцы; отец натруженно спешился, и сабля увесисто и тупо ударила о ногу, о мокрое голенище.

– Почисть его, – сказал отец. – Дай корма вдоволь, но не выпускай на выгон. Пусть будет под рукой... Иди с Люшем, – сказал он Юпитеру, точно к ребенку обращаясь, и потрепал его по желтовато-дымчатому боку, и Люш увел коня. Теперь мы могли рассмотреть его как следует. Отца то есть. Он был невелик ростом; возвышались, высили его в наших глазах те дела, что – мы знали – совершает, совершил он в Виргинии и Теннесси. Были и другие войны, свершавшие такое, – но мы-то знали его одного лишь, его храп слышали ночами в тихом доме, его видели за обеденным столом, его голосу внимали, его привычки сна, еды и разговора знали. Ростом он был невелик, в седле же казался еще малорослей, потому что Юпитер был крупен, а отец в воображении нашем высылся и пеший, на коне же вырастал уже до неба, до невероятия. И потому казался в седле мал. Он подошел к крыльцу, стал подниматься, и сабля весомо и плоско льнула к ноге. А мне уже запахло – как во все его приезды, как весной, когда я ехал по аллее, прижимаясь к нему, стоя в стремени, – я уже почувствовал запах, шедший от его одежды, бороды и от тела тоже; мне казалось, это запах пороха и славы, победоносной избранности, но, поумнев, теперь я знаю – не победоносность то была, а только воля выстоять, едко-усмешливый отказ от самообманов, заходящий намного дальше и того оптимизма, который бодро принимает вероятность в ближайшем же будущем всего наихудшего, что мы способны претерпеть. Он всходил, и сабля задевала каждую ступеньку (так невысок он был на самом деле); взойдя на четыре ступеньки, остановился и снял шляпу. Вот пример того, как действия отца превышали его рост. Он ведь мог подняться наверх, стать вровень с бабушкой – и ему пришлось бы слегка лишь нагнуться, подставляя лоб поцелую. Но нет. Он остановился двумя ступеньками ниже и обнажил голову, и то, что теперь уже бабушка принагнулась, касаясь его лба губами, нисколько не ослабило впечатления рослости, крупности, которое он производил – по крайней мере, на нас.

– Я так и думала, что ты приедешь, – сказала бабушка.

– Н-да, – сказал отец. Взглянул на меня, не сводившего с него глаз; а снизу неотрывно смотрел на него Ринго.

– Неблизкий путь из Теннесси, – сказал я.

– Н-да, – опять сказал отец.

– А отощали вы, хозяин Джон, – сказал Ринго. – Что там едят в Теннесси? То же самое, что у нас едят люди?

И тут я сказал, влюбленно глядя отцу в лицо, в глаза:

– Люш говорит, ты сейчас не в Теннесси был.

– Люш? – произнес отец. – Люш?

– Входи, – сказала бабушка. – Лувиция уже накрывает на стол. Не успеешь умыться, как подаст тебе обедать.

## 2

В тот же день, еще до заката, мы сделали для нашей скотины загон. Мы огородили его в низине, в зарослях у речки, где его нипочем не найти чужаку, и саму изгородь разглядеть можно, лишь приблизившись к свежесрубленным, сочащим сок жердям, перегородившим чащобу и с ней сливающимся. Мы все там трудились – отец, Джоби, Ринго, Люш и я, – отец по-прежнему в сапогах, но сняв мундир, и обнаружилось, что брюки на нем не конфедератские, не наши, а североармейские, трофейные, нового и крепкого синего сукна; и саблю отец снял. Работали мы быстро, валили молодые деревья – иву, дубки, красный клен, каштан карликовый – и, наспех обрубивши ветки, волокли с помощью мулов, да и сами, через пойменную грязь и кусты туда, где уже ждал отец. Вот то-то и оно – отец попевал всюду; ухватив по жердине под каждую руку, он волок их сквозь кустарник чуть ли не быстрее мулов и примасивал на место, пока Джоби с Люшем еще спорили, каким концом пустить куда. Вот то-то же; и не в том дело, что отец работал быстрее и усерднее всех нас, хотя мог бы стоять, распорядиться и уж точно выглядел бы в такой позе крупней и внушительней (во всяком случае, в мальчишеских глазах – по крайней мере, в наших с Ринго двенадцатилетних глазах) – дело во всей его манере. Когда Лувиция подала ему солонину с овощами, кукурузные лепешки, молоко и он поел, сидя на своем обычном месте в столовой нашей (а мы – Ринго и я, во всяком случае – глядели, ждали, не могли дожидаться вечера и отцовских рассказов), и вытер бороду и сказал: «А теперь новый загон городить. Но прежде еще надо нарубить жердей», – при этих словах и мне и Ринго представилось, наверное, одно и то же. Вообразилось, что все мы – Джоби, Люш, Ринго и я – стоим там, как бы выстроившись, – не в потной жажде штурма и победы, а в том мощном, хоть и покорном утверждении верховной воли, которое, должно быть, двигало Наполеоновы войска; а перед нами отец, и за его спиной приречная низина, напоенные соком стволы, что сейчас будут обращены в мертвые жерди. Отец на коне; отец в сером золотогалунном мундире; и вот он обнажает саблю. Окинув и сплотив нас своим взглядом напоследок и вздыбливая, поворачивая уж Юпитера на тугих удилах, выхватывает он саблю; движение взметает его волосы под треуголкой, сабля блещет; он восклицает негромко, но громово: «Рысью! Марш-марш! В атаку!» И, с места не сходя, мы следуем за ним и взглядом и телами – за невысоким человеком, который в сочетании с конем высится как раз в меру (а для нас, двенадцатилетних, высится над всеми прочими людьми), – который встал на стременах над дымчатую уносящуюся молнией коня, и под бессчетными сверкающими сабельными взмахами назначенные им деревья, срубленные и обрубленные, очищенные от ветвей, ложатся стройными рядами, ожидая только переноски и приладки, чтобы протянуться изгородью.

Солнце уже ушло из низины, когда мы кончили изгородь: Джоби и Люшу осталось лишь поставить последние три ее звена; но оно еще светило на выгоне, на косогоре, когда мы ехали к дому – я у отца за спиной, на крупе мула, а на втором муле Ринго. У дома отец слез, а я – в седле – вернулся к конюшне, и тем временем на косогорах за вечерело тоже. Ринго уже надел корове на рога веревку, и мы направились опять в низину, и теленок шел за коровой, тычась ей в вымя всякий раз, когда корова останавливалась щипнуть травы. Ринго дергал веревку, орал на корову, а свинья трюхала впереди. Но задерживала нас именно свинья. Она двигалась даже медленнее, чем корова со всеми ее остановками, так что, пока спустились к новому загону, уже стемнело. Но в изгороди оставался еще широкий незаделанный проход. Правда, мы на это и рассчитывали.

Мы завели туда обоих мулов, корову с теленком, свинью; ошупью поставили последнее звено и пошли домой. Было совсем темно, даже на выгоне; нам видна была горящая в кухне лампа, и чья-то тень там двигалась в окне. Мы с Ринго вошли – Лувиния как раз закрывала дорожный сундук из тех, что стоят на чердаке; в последний раз его снимали оттуда, когда ездили в Хоккерст гостить на Рождество четыре года назад – тогда не было еще войны и дядя Деннисон был жив. Сундучище этот тяжел даже и пустой; когда мы уходили горючить в кухню его не было, и, значит, его снесли вниз без нас, без Джоби и Люша, и тащить пришлось бабушке с Лувинией, разве что снес его вниз отец, подъехавший со мной на муле, – и, значит, вот как спешно все и неотложно; да, наверно, это отец и с сундуком управился. А когда я вошел в столовую ужинать, на столе вместо серебряных ножей и вилок лежали кухонные, и за стеклом буфета (где на моей памяти всегда стоял серебряный сервиз, и только каждый вторник бабушка с Лувинией и Филадельфией брали его оттуда и начищали, а зачем – одной бабушке разве что известно, – ведь сервизом никогда не пользовались) было пусто.

Отужинали быстро. Отец ведь обедал, а мы – Ринго и я – слишком ждали-ждали этого отдохновенного часа, когда отец начнет рассказ. В тот его весенний приезд мы дождались: отец сел после ужина в свое старое кресло-качалку, в камине затрещали, защелкали ореховые чурбаки, и мы приготовились слушать, присев на пятки сбоку от огня, а над каминной доской на двух крюках протянулось трофейное капсюльное ружье, привезенное отцом из Виргинии два года назад, – дремлет, смазанное и заряженное к бою. И мы услышали тогда рассказ. Звучали в нем такие имена, как Форрест, Морган, Барксдейл и Ван Дорн, такие немиссисипские слова, как ущелье и обвал; но Барксдейл – наш земляк, и Ван Дорн тоже, только его застрелит позже чей-то муж; а генерал Форрест проезжал однажды Южной улицей Оксфорда, и сквозь оконное стекло глядела на него там девушка, алмазом перстня нацарапавшая свое имя на стекле: Силия Кук...

Но нам шел всего тринадцатый; в ушах наших звучало другое. Нам слышались пушки, и шелест знамен, и безымянный вопль атаки. И это мы хотели и сегодня услышать. Ринго ожидал меня в холле; вот уже отец сел в свое кресло в комнате, которую он и негры зовут кабинетом: он зовет потому, что здесь стоит его письменный стол, в чьих ящиках хранятся образцы нашего хлопка и зерна, – и здесь он снимает грязные сапоги и сидит разувшись, а сапоги сохнут у камина, и сюда не возбраняется входить собакам и греться у огня на ковре и даже ночевать здесь в холода – а разрешила ли то отцу мама (она умерла, родив меня) и подтвердила разрешение бабушка или бабушка сама уже без мамы разрешила, я не знаю; негры же зовут комнату кабинетом потому, что сюда заведено их призывать на очную ставку с патрульщиком (который сидит на одном из жестких стульев и курит одну из отцовых сигар, но шляпу все же сняв), чтобы они клятвенно заверили, что вовсе и не были там, где их видел патрульщик, что вовсе не они то были; а бабушка зовет библиотекой, потому что здесь стоит книжный шкаф, и в нем Литлтон, комментированный Коуком, Иосиф Флавий, Коран, том решений Миссисипского суда за 1848 год, Джереми Тейлор, «Афоризмы» Наполеона, трактат по астрологии в тысячу девяносто восемь страниц, «История оборотней английских, ирландских и шотландских купно с валлийскими», писанная достопочтенным Птолемеом Торндайком, магистром наук Эдинбургского университета, членом Шотландского королевского общества, а также полные собрания Вальтера Скотта и Фенимора Купера и полный Дюма в бумажной обложке, кроме того томика, что отец выронил из кармана под Манассасом (когда отступали, сказал отец).

Так что Ринго и я опять присели по бокам камина – холодного, пустого – и тихо стали дожидаться, и бабушка пристроилась с шитьем к столу, к лампе, а отец сел в кресло на всегдашнем своем прикаминном месте, скрестивши ноги, оперев задки волглых сапог там, где старые от них следы на решетке, и жуя табак, взятый у Джоби заимобразно. Джоби куда постарше отца возрастом и потому перехитрил войну – запаса табак. В штат Миссисипи он приехал с отцом из Каролины; он был бессменным отцовским слугой, а на нескорую смену себе растил,

готовил Саймона (Ринго – сын Саймона). Но война ускорила лет на десяток вступление Саймона в должность, и Саймон ушел на войну денщиком отца, а сейчас остался в эскадроне, в Теннесси. И вот мы сидим ждем, когда же начнется рассказ; уже и Лувиния в кухне кончает стучать посудой, и я подумал, что отец хочет, чтобы и она, управившись, пришла послушать, и спросил отца пока что:

– Разве возможно вести войну в горах, папа?

И оказалось, отец только того и ждал (но не в желательном для меня и Ринго смысле).

– В горах воевать невозможно, – сказал он. – Однако приходится. А теперь ну-ка, мальчишки, спать.

Мы поднялись наверх. Но в спальню нашу не пошли; сели на верхней лестничной ступеньке, куда уже не доходит свет лампы, горящей в холле, и стали оттуда глядеть и вслушиваться в то, что доносилось из-за двери кабинета; немного погодя Лувиния прошла внизу по холлу, не заметив нас, и вошла в кабинет; нам слышно было, как отец спросил ее:

– Готов сундук?

– Да, сэр. Готов.

– Скажи Люшу, пусть возьмет фонарь и заступы и ждет меня в кухне.

– Слушаю, сэр, – сказала Лувиния. Вышла, пересекла холл, снова не взглянув на лестницу, а обычно она идет за нами наверх неотступно и, вставши в дверях спальни, бранит нас, покуда не ляжем – я в кровать, а Ринго рядом, на соломенный тюфяк. Но сейчас ей было не до нас и не до нашего непослушания даже.

– А я знаю, что там, в сундуке, – шепнул Ринго. – Серебро. Как по-твоему...

– Тсс, – сказал я.

Было слышно, как отец говорит что-то бабушке. Потом Лувиния опять прошла через холл в кабинет. Сидя на ступеньке, мы прислушивались к голосу отца – он рассказывал что-то бабушке и Лувинии.

– Висксберг? – шепнул Ринго. В тени, где мы сидим, его не видно; блестят только белки его глаз. – Висксберг *нал*? То есть рухнулся в Реку? И с генералом Пембертоном вместе?

– Тссс! – сказал я.

Сидя бок о бок, мы слушаем голос отца. И, может, темнота нас усыпила, унесло нас снова перышками, мотыльками прочь или же мозг спокойно, твердо и бесповоротно отказался далее воспринимать и верить, – потому что вдруг над нами очутилась Лувиния и трясет нас, будит. И не бранит даже. Довела до спальни, стала в дверях и не зажгла даже лампы, не проверила, разделись мы или упали в сон не раздеваясь. Возможно, это голос отца звучал в ее ушах, как в наших звучал и путался со сном, – но я знал, ее гнетет иное; и знал, что мы проспали на ступеньках вынос сундука, и он уже в саду, его закапывают. Ибо мозгу моему, отказавшемуся верить в поражение и беду, мерещилось, будто видел я фонарь в саду, под яблонями. А наяву или во сне видел, не знаю – потому что наступило утро, и шел дождь, и отец уже уехал.

### 3

Уезжал он, должно быть, уже под дождем, который и все утро продолжался, и в обед – так что незачем и вовсе будет выходить сегодня из дому, пожалуй; и наконец, бабушка отложила шитье, сказав:

– Что ж. Принеси поваренную книгу, Маренго.

Ринго принес из кухни книгу, мы с ним улеглись на ковре животом вниз, а бабушка раскрыла книгу.

– О чем будем читать сегодня? – сказала она.

– Читай про торт, – сказал я.

– Что ж. А о каком именно?

Вопрос излишний – Ринго, и не дожидаясь его, сказал уже:

– Про кокосовый, бабушка.

Каждый раз он просит читать про кокосовый торт, потому что нам с ним так и неясно, ел Ринго хоть раз этот торт или нет. У нас пекли торты на Рождество перед самой войной, и Ринго все припоминал, досталось ли им в кухне от кокосового, и не мог припомнить. Иногда я пытался ему помочь, выспрашивал, какой у того торта вкус был и вид, – и Ринго уже почти решался мне ответить, но в последнюю минуту передумывал. Потому что, как он говорит, лучше уж не помнить, отведал или нет, чем знать наверняка, что и не пробовал; если окажется, что ел он не кокосовый, то уж всю жизнь не знать ему кокосового.

– Почитать еще разок – куда не будет, я думаю, – сказала бабушка.

Ближе к вечеру дождь перестал; когда я вышел на заднюю веранду, сияло солнце, и Ринго спросил, идя следом:

– Мы куда идем?

Миновали коптильню; отсюда видны уж конюшня и негритянские хибары.

– Да куда идем-то? – повторил он.

Идя к конюшне, мы увидели Люша и Джоби за забором, на выгоне, – они вели мулов снизу, из нового загона.

– Да идем-то для чего? – допытывался Ринго.

– Следить за ним будем, – сказал я.

– За ним? За кем за ним?

Я взглянул на Ринго. Он смотрел на меня в упор – молча, блестя белками глаз, как вчера вечером.

– А-а, ты про Люша, – сказал он. – А кто велел, чтоб мы за ним следили?

– Никто. Я сам знаю.

– Тебе что – сон был, Баярд?

– Да. Вечером вчера. Прислышалось, будто отец велел Лувинии следить за Люшем, потому что Люш знает.

– Знает? – переспросил Ринго. – Что знает? – Но вопрос тоже излишний, и он сам ответил, поморгав своими круглыми глазами и спокойно глядя на меня: – Вчера. Когда он повалил наш Вексберг. Люш знал уже тогда. Все равно как знал, что не в Теннесси теперь хозяин Джон. Ну, и про что еще тебе тот сон был?

– Чтоб мы за ним следили – вот и все. Люшу известно станет раньше нас. Отец и Лувинии велел следить за ним, хоть Люш ей сын, – велел Лувинии еще немного побыть белой. Потому что если проследить за ним, то сможем угадать, когда оно нагрянет.

– Что нагрянет?

– Не знаю.

Ринго коротко вздохнул.

– Тогда так оно и есть, – сказал он. – Если б тебе кто сказал, то, может, это были б еще враки. Но раз тебе сон был, это уже не враки – некому было соврать. Придется нам следить за ним.

Мы принялись следить; они впрягли мулов в повозку и спустились за выгон, к вырубке, возить наготовленные дрова. Два дня мы скрытно следили за ними. И тут-то почувствовали, под каким всегдашним бдительным надзором Лувинии сами находимся. Заляжем, посмотрим, как Люш и Джоби грузят повозку, – и слышим тут же, что она надрывается, кличет нас, и приходится отходить незаметно вбок и бежать потом к Лувинии с другого направления. Иногда у нас не было времени сделать крюк – она застигала нас на полпути, и Ринго прятался мне за спину, а она бранила нас:

– Вы что крадетесь? Не иначе, озорство какое затеяли. Признавайтесь, сатанята.

Но мы не признавались, шли за ней, бранящейся, до кухни, и, когда она туда скрывалась, снова тихо уходили с глаз долой и бежали следить за Люшем.

И на второй день вечером, засев у хибары, где живут Люш с Филадельфией, мы увидели, как он вышел оттуда и направился к новому загону. Прокравшись за ним, услышали в потемках, как он поймал и вывел мула и поехал верхом прочь. Мы пустились следом, но когда выбежали на дорогу, то слышен был лишь замирающий топот копыт. А пробежали мы порядочный кусок, так что даже зычный клич Лувинии донесся до нас слабо, еле-еле. Мы постояли в звездном свете, глядя в даль дороги.

– На Коринт ускакал, – сказал я.

Вернулся он лишь через сутки, опять в потемках. А я и Ринго чередовались: один оставался у дома, другой наблюдал у дороги, – чтобы Лувиния не надсаживалась в крике с утра до ночи, не видя нас обоих. А наступила уж ночь; Лувиния загнала нас было в спальню, но мы снова выскользнули из дому и крались мимо Джобиной хибары, как вдруг дверь ее отворилась – вынырнувший из темноты Люш шагнул туда, в светлый проем. Люш возник совсем рядом, я почти бы рукой мог дотронуться, но он нас не заметил; на миг, внезапно, как бы повис в проеме двери на свету, точно из жести вырезанный силуэт бегущего, и нырнул в хибару, дверь черно захлопнулась – мы так и застыли. А когда глянули в окошко, он стоял там у огня – одежда изорвана, в грязи – ему пришлось ведь прятаться в болотах и низах от патрулей, – а на лице опять это хмельное выражение (хоть он и не выпил), точно он давно уже без сна и спать не хочет, а Джоби и Филадельфия подались лицами вперед, в отсветы огня, и смотрят на Люша, и рот у Филадельфии открыт, и то же у нее бессонное, хмельное выражение. И тут дверь открылась опять; это Лувиния. Как она шла за нами, мы не слышали, – и встала, взявшись за дверной косяк и глядя на Люша с порога, а старую отцову шляпу снова не надела.

– И, говоришь, освободят нас всех? – сказала Филадельфия.

– Да, – сказал Люш, гордо откинув голову.

– Тихо ты! – шикнул Джоби, но Люш и не взглянул на него.

– Да! – сказал Люш еще громче. – Генерал Шерман идет и все перед собой сметает и сделает свободным весь народ наш!

Лувиния в два быстрых шага подошла к нему и ладонью крепко хлопнула по голове.

– Дурак ты черный! – сказала она. – По-твоему, на свете наберется столько янки, чтоб побии белых?

Мы пустились домой, не дожидаясь голоса Лувинии и опять не зная, что она следует за нами. Вбежали в кабинет, к бабушке – она сидит у лампы с раскрытой на коленях Библией и глядит на нас поверх очков, нагнувши голову.

– Они идут сюда! – крикнул я. – Идут освободить нас!

– Что, что? – произнесла она.

– Люш их видел! Они на дороге уже. Генерал Шерман идет всех нас делать свободными!

И смотрим – ждем, за кем она прикажет нам бежать, чтобы ружье снял, – за Джоби, как старшим, или же за Люшем, поскольку он их видел и знает, в кого стрелять. Но тут бабушка крикнула тоже – голосом громким и звучным, как у Лувинии:

– Это что такое, Баярд Сарторис! Почему ты еще не в постели?.. Лувиния! – позвала она. Вошла Лувиния. – Проводи детей в постель, и если только зашумят еще сегодня, то позволяю и прямо приказываю выпороть их обоих.

Мы тут же поднялись, легли. Но, лежа порознь, нельзя было переговариваться, потому что Лувиния поставила себе раскладную койку в коридоре. А лезть на кровать ко мне Ринго опасался, так что я лег к нему на тюфяк.

– Нам надо будет стеречь дорогу, – сказал я.

Ринго вздохнул, как всхлипнул.

– Видно, больше некому, – сказал он.

– Ты боишься?

– Да не очень, – сказал он. – Но лучше бы хозяин Джон был здесь.

– Что ж делать, раз его нет, – сказал я. – Придется самим.

Два дня мы стерегли дорогу, затаясь в можжевельниковой рощице. Время от времени Луви-ния звала нас, но мы сказали ей, куда ходим и что, мол, устраиваем там новое поле битвы, и к тому же из кухни рощица видна. Там было тенисто, прохладно и тихо, и Ринго большей частью спал, и я тоже немного. И приснилось мне, будто гляжу на усадьбу нашу, и вдруг дом и конюшня, хибары, деревья исчезли, и место гладким стало и пустым, как наш буфет, и сумерки сгущаются, темнеют, и вот уже не сбоку я гляжу, а сам я там, в испуганной толпе движущихся крохотных фигурок, где отец, и бабушка, и Джоби, Луви-ния, Люш, Филадельфия, Ринго, – и тут Ринго словно поперхнулся, и я глянул на дорогу, просыпаясь, а там, посреди нее, встал на каурой лошади и смотрит в бинокль на наш дом – северянин, янки.

А мы продолжаем лежать и глядеть на него. А зачем – не знаю; ведь кто он такой, мы поняли сразу же; помню, у меня мелькнуло: «Выглядит как все люди»; потом мы с Ринго пере-глянулись ошалело и стали отползать с бугра – вышло это у нас само собою, бессознательно, – и вот уже бежим выгоном к дому, а когда перешли на бег, тоже не помню. Казалось, бежим и бежим нескончаемо, закинув голову, сжав кулаки, и добежали до забора наконец, кувырнулись через и вбежали в дом. Бабушки в кресле нет, а шитье рядом, на столе.

– Быстрее! – сказал я. – Придвигай к камину!

Но Ринго застыл на месте, и глаза – как блюдца; я подтащил кресло, вскочил и стал снимать ружье. Весу в нем фунтов пятнадцать, но не так еще вес, как длина несусветная; кончи-лось тем, что снял с крюков и вместе с ним и креслом загремел на пол. И услышали мы, как бабушка вскинулась наверху в постели и вскрикнула:

– Кто там?

– Быстрее! – сказал я. – Берись же!

– Боюсь, – сказал Ринго.

– Что ты там, Баярд? – донесся голос бабушки. – Луви-ния!

Вдвоем мы взялись за приклад и дуло, как берутся за бревно.

– Или освободиться хочешь? – сказал я. – Чтоб тебя свободным делали?

Мы бегом потащили ружье, как бревно. Пробежали рощицей, упали у опушки за куст жимолости – и тут из-за поворота вышла эта лошадь. А больше мы уж ничего не слышали – потому, быть может, что дышали шумно или что не ожидали больше ничего услышать. Мы и не глядели больше; были заняты тем, что взводили курок. Мы уже взводили его раньше раза два, когда бабушки в кабинете не было и Джоби входил, снимал ружье для проверки, для смены пистона. Ринго поставил ружье стоймя, я взялся повыше за ствол обеими руками, подтянулся, обхватил ложе ногами и сполз вниз, давя телом на курок, пока не щелкнуло. Так что глядеть нам было некогда; Ринго нагнулся, уперев руки в колени, подставляя спину под ружье, и выдохнул:

– Стреляй сволочугу! Стреляй!

Мушка совпала с прорезью, и, закрывая от выстрела глаза, я успел увидеть, как янки вместе с лошадей застлало дымом. Грянуло, как гром, дыму сделалось, как на лесном пожаре, и ничего не вижу кроме, только лошадь ржанула, визгнула пронзительно, и ахнул Ринго:

– Ой, Баярд! Да их целая армия!

#### 4

Мы словно никак не могли достичь дома; он висел перед нами, как во сне, парил, мед-ленно вырастая, но не приближаясь; Ринго несея за мной следом, постанывая от испуга, а позади, поодаль – крики и топот копыт. Но наконец добежали; в дверях – Луви-ния, на этот раз

в отцовской шляпе, рот открыт, но мы не останавливаемся. Вбежали в кабинет – бабушка стоит у поднятого уже кресла, приложив руку к груди.

– Мы застрелили его, бабушка! – выкрикнул я. – Мы застрелили сволочугу!

– Что такое? – смотрит на меня, лицо стало почти того же цвета, что и волосы, а поднятые выше лба очки блестят среди седин. – Баярд Сарторис, что ты сказал?

– Насмерть застрелили, бабушка! На въезде! Но там их вся армия, а мы не видели, и теперь они скачут за нами.

Она села, опустилась в кресло как подкошенная, держа руку у сердца. Но голос ее и теперь был внятн и четок:

– Что это значит? Отвечай, Маренго! Что вы сделали?

– Мы застрелили сволочугу, бабушка! – сказал Ринго. – Насмерть!

Тут вошла Луви́ния – рот все так же открыт, а лицо точно пеплом присыпали. Но и без этого, но и самим нам слышно, как на скаку оскальзываются в грязи подковы и один кто-то кричит: «Часть солдат – за дом, на черный ход!» – и они пронеслись в окне мимо – в синих мундирах, с карабинами. А на крыльце топот сапог, звон шпор.

– Бабушка! – проговорил я. – Бабушка!

У всех у нас словно отнялась способность двигаться; застывши, мы глядим, как бабушка жмет руку к сердцу, и лицо у нее как у мертвой и голос как у мертвой:

– Луви́ния! Что ж это? Что они мне говорят такое?

Все происходило разом, скопом – точно ружье наше, грянув, взвихрило и втянуло в свой выстрел все последующее. В ушах моих еще звенело от выстрела, так что голоса бабушки и Ринго и мой собственный доносились как бы издалека. И тут бабушка произнесла: «Быстро! Сюда!» – и вот уже Ринго и я сидим на корточках, съезженно прижавшись к ее ногам справа и слева, и в спину нам уперты кончики полозьев кресла, а пышный подол бабушкин накрыл нас, как шатер, – и тяжелые шаги, и (Луви́ния рассказывала после) сержант-янки трясет нашим ружьем перед бабушкой.

– Говори, старушка! Где они? Мы видели – они сюда вбежали!

Нам сержанта не видно; упершись подбородком себе в колени, мы сидим в сером сумраке и в бабушкином запахе, которым пахнет и одежда, и постель ее, и комната, – и глаза у Ринго точно блюдца с шоколадным пудингом, и мысль у нас одна, наверно, у обоих: что бабушка ни разу в жизни не секла нас ни за что другое, кроме как за ложь, пусть даже и не сказанную, пусть состоящую лишь в умолчанье правды, – высечет, а затем поставит на колени и сама рядом опустится и просит Господа простить нас.

– Вы ошибаетесь, – сказала бабушка. – В доме и на всей усадьбе нет детей. Никого здесь нет, кроме моей служанки и меня и негров в их домиках.

– И этого ружья вы тоже знать не знаете?

– Да. – Спокойно так сказала, сидя прямо и неподвижно в кресле, на самом краю, чтобы подол скрывал нас совершенно. – Если не верите, можете обыскать дом.

– Не беспокойтесь, обыщем... Пошли ребят наверх, – распорядился он. – Если там двери где заперты, отворяй прикладом. А тем, кто во дворе, скажи, чтоб прочесали сарай и домишки.

– Вы не найдете запертых дверей, – сказала бабушка. – И позвольте мне спросить хоть...

– Без вопросов, старушка. Сидеть смирно. Надо было задавать вопросы раньше, чем высылать навстречу этих чертенят с ружьем.

– Жив ли... – речь угасла было, но бабушка точно розгой заставила собственный голос продолжить: – Тот... в кого...

– Жив? Как бы не так! Перебило спину, и пришлось тут же пристрелить!

– При... пришлось... при... стрелить...

Что такое изумленный ужас, я тоже не знал еще; но Ринго, бабушка и я в этот миг его все втроем воплощали.

– Да, пришлось! Пристрелить! Лучшего коня в целой армии! Весь наш полк поставил на него – на то, что в воскресенье он обскочит...

Он продолжал, но мы уже не слушали. Мы, не дыша, глядели друг на друга в сером полумраке – и я чуть сам не выкрикнул, но бабушка уже произнесла:

– И, значит... они не... О, слава Господу! Благодаренье Господу!

– Мы не... – зашептал Ринго.

– Тсс! – прервал я его. Потому что без слов стало ясно, и стало возможно дышать наконец, и мы задышали. И потому, наверно, не услышали, как вошел тот, второй, – Лувиния нам описала его после, – полковник с рыжей бородкой и твердым взглядом блестящих серых глаз; он взглянул на бабушку в кресле, на руку ее, прижатую к груди, и снял свою форменную шляпу.

Но обратился он к сержанту:

– Это что тут? Что происходит, Гаррисон?

– Они сюда вбежали, – сказал сержант. – Я обыскиваю дом.

– Так, – сказал полковник. Не сердито – просто холодно, властно и вежливо. – А по чьему распоряжению?

– Да кто-то из здешних стрелял по войскам Соединенных Штатов. Распорядился вот из этой штуки. – И тут лязгнуло, стукнуло; Лувиния после сказала, что он потряс ружьем и резко опустил приклад на пол.

– И свалил одну лошадь, – сказал полковник.

– Строевую собственность Соединенных Штатов. Я сам слышал, генерал сказал, что были бы кони, а конники найдутся. А тут едем по дороге мирно, никого пока еще не трогаем, а эти двое чертят... Лучшего коня в армии; весь полк на него поставил...

– Так, – сказал полковник. – Ясно. Ну и что? Нашли вы их?

– Нет еще. Эти мятежники прячутся юрко, как крысы. Она говорит, здесь вообще детей нету.

– Так, – сказал полковник.

Лувиния после рассказывала, как он впервые оглядел тут бабушку. Взгляд его спустился с бабушкиного лица на широко раскинутый подол платья, и целую минуту смотрел он на этот подол, а затем поднял опять глаза. И бабушка встретила его взгляд своим – и продолжала лгать, глядя в глаза ему.

– Прикажете так понимать, сударыня, что в доме и при доме нет детей?

– Детей нет, сударь, – отвечала бабушка.

Лувиния рассказывала – он повернулся к сержанту.

– Здесь нет детей, сержант. Очевидно, стреляли не здешние. Соберите людей – и по коням.

– Но, полковник, мы же видели, сюда вбежало двое мальчуганов! Мы все их видели!

– Вы ведь слышали, как эта леди только что завершила, что в доме нет детей. Где ваши уши, сержант? И вы что – действительно хотите, чтобы нас догнала артиллерия, когда милях в трех отсюда предстоит болотистая переправа через речку?

– Что ж, сэр, воля ваша. Но если бы полковником был я...

– Тогда, несомненно, я был бы сержантом Гаррисоном. И полагаю, в этом случае я озабочился бы проблемой, какую теперь лошадь выставлять в будущее воскресенье, и оставил бы в покое пожилую леди, начисто лишенную внуков... – тут его глаза (вспоминала Лувиния) бегло скользнули по бабушке, – и одиноко сидящую в доме, куда, по всей вероятности, я больше никогда не загляну – к ее, увы, великой радости и удовольствию. По коням же и едем дальше.

Мы сидели затаив дыхание и слушали, как они покидают дом, как сержант сзывает во дворе солдат, как едут со двора. Но мы не вставали с корточек, потому что бабушка по-прежнему была напряжена вся – и, значит, полковник еще не ушел. И вот раздался снова его голос – властный, энергично-жесткий и со скрытым смехом где-то в глубине:

– Итак, у вас нет внуков. А жаль – какое бы раздолье здесь двум мальчикам – уженье, охота, да еще на самую, пожалуй, заманчивую дичь, и тем лишь заманчивей, что возле дома эта дичь не так уж часто попадает. Охота с ружьем – и весьма внушительным, я вижу. (Сержант поставил наше ружье в углу, и полковник, по словам Лувинии, кинул туда взгляд. А мы опять не дышим.) Но, как я понимаю, ружье это вам не принадлежит. И тем лучше. Ибо принадлежи оно, допустим на секунду, вам, и будь у вас два внука или, допустим, внук и его сверстник-негр, и продолжай, допустим, ружье палить, то в следующий раз могло бы дело и не обойтись без жертв. Но что это я разболтался? Испытываю ваше терпение, держу вас в этом неудобном кресле и читаю вам нотацию, которая может быть адресована лишь даме, имеющей внуков – или, скажем, внука и негритенка, товарища его забав.

И он тоже повернулся уходить – мы ощутили это даже в своем укрытии под юбкой; но тут бабушка сказала:

– Мне почти нечем угостить вас, сударь. Но если стакан холодного молока после утомительной дороги...

Он молчал, молчал, не отвечая, только глядя (вспоминала Лувиния) на бабушку твердым взглядом своих ярких глаз, и за твердостью, за яркой тишиной таился смех.

– Нет, нет, – сказал он. – Благодарю вас. Вы слишком себя не жалеете – учтивость ваша переходит уже в бравированье храбростью.

– Лувиния, – сказала бабушка. – Проводи джентльмена в столовую и угости, чем можем.

Мы поняли, теперь он вышел, – потому что бабушку стало трясти, бить уже несдерживаемой дрожью; но напряжено тело ее было по-прежнему, и слышно, как прерывисто бабушка дышит. Мы тоже задышали опять, переглянулись.

– Мы его совсем не застрелили! – шепнул я. – Мы никого не застрелили вовсе!

И снова тело бабушки сказала нам, что он вошел; но теперь я почти зримо ощутил, как смотрит он на бабушкино платье, прикрывающее нас. Он поблагодарил ее за молоко, назвал себя, свой полк.

– Возможно, это и к лучшему, что у вас нет внуков, – сказал он. – Ведь вы, несомненно, желаете себе спокойной жизни. У меня у самого трое мальчиков. А дедом я еще не успел стать. – В голосе его не было уже скрытого смеха; он стоял в дверях (рассказывала Лувиния) со шляпой в руке, поблескивая медью полковничьих знаков на синем мундире, рыжея головой и бородкой; не было смеха и в глазах, направленных на бабушку. – Приносить извинения не стану; лишь глупцы обижаются на ураган или пожар. Позвольте только пожелать, чтобы у вас за всю войну не осталось о нас воспоминаний худших, чем эти.

Он ушел. Мы услышали звон его шпор в холле и на крыльце, затем звук копыт, затихающий, стихший, – и тут силы оставили бабушку. Она откинулась в кресле, держась за сердце, закрыв глаза, и на лице ее крупными каплями проступил пот; у меня вырвалось:

– Лувиния! Лувиния!

Но бабушка открыла глаза – и, открываясь, они уже нацелены были на меня. Потом взгляд их переместился на Ринго – и снова на меня.

– Баярд, – сказала бабушка, прерывисто дыша, – что за слово ты употребил?

– Слово? Когда это, бабушка? – Но тут я вспомнил, опустил глаза; а она лежит в кресле, изнеможенно дышит и смотрит на меня.

– Не повторяй его. Ты выругался. Употребил непристойную брань, Баярд.

Ринго стоит рядом. Мне видны его ноги.

– Ринго тоже употребил, – сказал я, не поднимая глаз. Она не отвечает, но, чувствую, смотрит на меня. И я проговорил вдруг:

– А ты солгала. Сказала, что нас нету здесь.

– Знаю, – ответила бабушка. Приподнялась. – Помогите мне.

Встала с кресла с нашей помощью. А зачем – неясно. Оперлась о нас, о кресло – и опустилась на колени. Ринго опустился рядом первый. А потом и я, и он слушаем, как она просит Господа, чтобы простил ей сказанную ложь. Затем поднялась; мы не успели и помочь ей.

– Подите в кухню, вынесите таз воды, возьмите жестянку с мылом, – сказала она. – Новую.

## 5

Вечерело уже, – время как бы незамеченно настигло нас, позабывших о нем, втянутых в грохот и переполох выстрела; солнце снизилось почти вровень с нами, а мы стоим за домом, у веранды и вымываем, выполаскиваем от мыла рот, поочередно зачерпывая воду тыквенным ковшиком и выплевывая ее прямо в солнце. Выдохнешь воздух затем – и вылетает мыльный пузырь, но вскоре пузыри у нас кончились и остался только мыльный вкус. Потом и вкус начал иссякать, но сплевывать еще хотелось; а в северной дали виднелась гряда облаков – голубая, смутнотающая снизу и медно тронутая солнцем по верхам. Когда отец весною приезжал, мы старались понять, что такое горы. В конце концов он указал вдаль на облачную гряду – вот, мол, на что они похожи. И с тех пор Ринго считает, что это Теннесси маячит облачной грядой.

– Вон они, горы, – сказал он, выплевывая воду. – Вон там Теннесси. Где хозяин Джон воюет с янками. А далеко как.

– И такие дальние походы совершать всего-то из-за янки, – сказал я, тоже выплюнув, выдохнув. Но все уже ушло – и пена, и невесомая стеклянная радужность пузырей, и даже мыльный привкус.

## Отход

### 1

Днем Люш подал повозку к заднему крыльцу и выпряг мулов; к ужину мы погрузили уже в нее все, кроме одеял, под которыми проспим эту последнюю перед дорогой ночь. Затем бабушка пошла наверх и вернулась в черном шелковом воскресном платье и в шляпке, и лицо у бабушки порумянено, в глазах появился блеск.

– Разве едем сейчас, вечером? – спросил Ринго. – Я думал, только утром выедем.

– Да, утром, – ответила бабушка. – Но я три года никуда не выезжала; уж Господь мне простит, что я принарядилась загодя.

Она повернулась (мы сидели в столовой, за ужином) к Лувинии:

– Скажи Джоби и Люшу, чтобы, как только поужинают, приготовили фонарь и лопаты.

Разложив кукурузные хлебцы на столе, Лувиния пошла было к дверям, но остановилась, взглянула на бабушку:

– Вы то есть хотите этот тяжелый сундук везти с собой аж в Мемфис? Лежит себе с прошлого лета в сохранности, а вы хотите выкопать и тащить аж в Мемфис?

– Да, – сказала бабушка, занявшись едой и не оборачиваясь уже к Лувинии. – Я следую распоряжениям полковника Сарториса, как я их понимаю.

Лувиния стояла в дверях буфетной, глядя бабушке в затылок.

– Пусть бы оставался зарытый и целый, и я бы стерегла его. Кто его там найдет, даже если опять сюда заявятся? Они ж не за сундук назначили награду, а за хозяина Джо...

– У меня есть причины, – прервала ее бабушка. – Выполняй, что я тебе велела.

– Хорошо. Но для чего вы хотите выкапывать сейчас, когда выезжаете ут...

– Делай, что велела.

– Слушаю, мэм, – сказала Лувиния. Вышла. Я смотрел, как бабушка ужинает – в шляпке, пряменько надетой на макушку, – а Ринго за спиной у бабушки косил на меня зрачками.

– А почему б не оставить зарытым? – сказал я. – Зачем еще такая тяжесть лишняя повозке. Джоби говорит, в сундуке весу тысяча фунтов.

– Вздор! – сказала бабушка. – И пусть даже десять тысяч...

Вошла Лувиния.

– Они приготовят, – сказала Лувиния. – А я хотела бы все ж таки знать, для чего выкапывать с вечера?

Бабушка поглядела на нее.

– Мне сон приснился прошлой ночью.

– А-а, – сказала Лувиния с тем же выражением лица, что и у Ринго; только Лувиния меньше вращает зрачками.

– Мне снилось, будто вижу из моего окна, как некто входит в сад, идет под яблоню и рукой указывает, где зарыто, – сказала бабушка, глядя на Лувинию. – Темнокожий некто.

– Негр? – спросила Лувиния.

– Да.

Лувиния помолчала. Затем спросила:

– А вы того некта признали?

– Да, – ответила бабушка.

– Кто ж он такой, не скажете?

– Нет, – ответила бабушка.

Лувиния повернулась к Ринго.

– Иди скажи дедушке и Люшу, чтоб с фонарем и заступами шли на задний ход.

Джоби с Люшем сидели в кухне. Джоби ужинал в углу за плитой, поставив тарелку себе на колени. Люш молча сидел на ящике для дров, держа оба заступа между колен, и сразу я его не заметил – его закрывала тень Ринго. Лампа светила на столе, отбрасывая тень от наклоненной головы Ринго и от руки его, трущей стекло фонаря, ходящей вверх-вниз, а Лувиния встала между нами и лампой, оперев руки в бока и затеняя собою полкухни.

– Протри его как следует, – сказала она.

С фонарем шел Джоби, за ним – бабушка, за нею – Люш; мне видна была ее шляпка, и голова Люша, и сталь двух заступов над его плечом. Мне в шею дышал Ринго.

– Как считаешь, который из них ей приснился? – сказал он.

– А ты у нее спроси, – сказал я. Мы шли уже садом.

– Ага, – сказал Ринго. – Поди спроси у нее. Спорим, если б она тут осталась, то ни янки бы, ни кто б другие не посмели полезть к сундуку, и сам даже хозяин Джон поостерегся бы соваться.

Они остановились – Джоби с бабушкой, – и бабушка стала светить взятым у Джоби фонарем, подняв руку, а Джоби и Люш вырыли сундук, закопанный в летний приезд отца, в ту ночь, когда Лувиния привела меня и Ринго в спальню и даже лампу не зажгла проверить, как легли, а после то ли глянул я в окно, то ли приснилось мне, что глянул и увидел в саду фонарь... Потом мы пошли к дому – бабушка впереди с фонарем, а за ней, с сундуком, остальные; Ринго и я тоже помогали тащить. У крыльца Джоби повернул было к повозке.

– В дом несите, – сказала бабушка.

– А мы сразу и погрузим, чтоб утром не возиться, – сказал Джоби. – Двигайся, парень, – воркнул он Люшу.

– В дом несите, – сказала бабушка.

И, постояв, Джоби двинулся в дом. Слышно было теперь, как он отпыхивается: «Хах, хах», – через каждые два-три шага. В кухне он со стуком опустил передний конец сундука.

– Хах! – выдохнул он. – Слава богу, дотащили.

– Наверх несите, – сказала бабушка.

Джоби повернулся, поглядел на нее. Он еще не выпрямился – глядел полусогнутый.

– Чего такое? – сказал он.

– Наверх несите, – сказала бабушка. – Ко мне в комнату.

– Это что ж – придется то есть тащить сейчас наверх, чтоб завтра стаскивать обратно вниз?

– Придется кому-то, – сказала бабушка. – Вы намерены помочь или же нам с Баярдом вдвоем нести?

Тут вошла Лувиния. Она уже разделась. Она была высокая, как привидение, в своей ночной рубашке, длинно, узко и плоско висящей на ней; тихо, как привидение, вошла она босиком, и ноги ее были одного цвета с сумраком, так что казалось, их у нее нет; а ногти ног белели, точно два ряда грязновато-белесых чешуек, невесомо и недвижно легших на пол футом ниже подола рубашки – и совсем отдельных от Лувинии. Подойдя и толкнув Джоби, она нагнулась к сундуку, чтобы поднять.

– Отойди, негр, – сказала она.

Джоби, кряхтя, оттолкнул Лувинию.

– Отойди, женщина, – сказал он. Поднял передний конец сундука, оглянулся на Люша – тот как вошел, так и держал задний конец, не опуская. – Везти мне тебя – так залезай с ногами, – сказал Джоби Люшу.

Мы втащили сундук к бабушке, и Джоби опять уже решил, что кончили, но бабушка велела ему с Люшем отодвинуть кровать от стены и вдвинуть сундук в промежутки; Ринго и я снова помогли. И, по-моему, в сундуке том почти верная была тысяча фунтов.

– А теперь всем идти спать, чтобы можно было выехать с утра пораньше, – сказала бабушка.

– У вас всегда так, – сказал Джоби. – Всех подымете ни свет ни заря, а выедем за полдень.

– Не твоя это забота, – сказала Лувиция. – Ты знай выполняй, что велит мисс Роза.

Мы вышли; бабушка осталась у кровати, отодвинутой так явно и так неуклюже, что всякий сразу бы догадался – за ней что-то прячут; да и как спрятать сундучище, в котором весу самое малое тысяча фунтов – и я и Ринго уже были в том согласны с Джоби. Кровать как бы указывала, что за ней сундук. Затем бабушка закрыла дверь – и тут Ринго и я остановились в коридоре как вкопанные и переглянулись. Сколько себя помню, в доме никогда никаких ключей не бывало ни в наружных, ни во внутренних дверях. А тут оба мы услышали, как в бабушкиной двери щелкнул ключ.

– Я и не знал, что в эту дверь ключ можно вставить, – сказал Ринго. – Да еще и повернуть.

– Вот тоже твоя с Джоби забота, – сказала Лувиция. Она улеглась уже на свою раскладушку и, прежде чем укрыться стеганым одеялом с головой, прибавила: – Сейчас обое чтоб легли.

Мы вошли к себе, стали раздеваться. Лампу Лувиция зажгла и на двух стульях приготовила наши воскресные одежды, в которых завтра ехать в Мемфис.

– Как считаешь, который из них ей приснился? – спросил Ринго.

Но я не ответил; я знал, что Ринго и без меня знает.

## 2

При лампе мы оделись по-воскресному, при лампе ели завтрак; слышно было, как наверху Лувиция снимает простыни с бабушкиной и моей постелей, скатывает тюфяк Ринго и несет все это вниз. Развиднялось, когда мы вышли к повозке; Люш и Джоби уже впрягли мулов, и Джоби стоял около, тоже одетый в то, что он зовет воскресным, в старый отцовский сюртук и отцову же потертую касторовую шляпу. Потом на заднюю веранду вышла бабушка (по-прежнему в черном шелковом платье и в шляпке – точно она так в них и продремала, простояла всю ночь прямо у двери, держа руку на ключе, который извлекла неведомо откуда, чтобы впервые за все время замкнуть дверь); на плечи шаль накинута, а в руках у нее зонтичек от солнца и ружье, снятое с крюков над камином. Она протянула ружье Джоби.

– Вот, – сказала бабушка. Джоби взглянул.

– Нам его не надо будет, – сказал Джоби.

– Положи в повозку, – сказала бабушка.

– Нет, мэм. Нам его не надо будет вовсе. Мы до Мемфиса доедем – никто и узнать не успеет, что мы на дороге. Да и хозяин Джон, надо думать, расчистил всю мемфисскую дорогу от янгов.

Бабушка и отвечать не стала. Молча продолжала протягивать ружье, и Джоби в конце концов взял его, понес в повозку.

– Теперь сундук снесите, – сказала бабушка.

Джоби еще не кончил укладывать ружье; остановился, повернул слегка голову.

– Чего? – произнес он. Круче повернул голову, не глядя, однако, на бабушку, стоящую на ступеньках. – Говорил же я вам, – сказал Джоби безадресно, ни на кого из нас не глядя.

– Насколько знаю, ты вообще не способен держать свои мысли при себе более десяти минут, – сказала бабушка. – Но что именно ты «говорил нам» в данном случае?

– Неважно что, – ответил Джоби. – Двигайся, Люш. И паренька прихвати.

Идут мимо бабушки. Она не глядит на них, они не только с глаз долой уходят, но из мыслей ее тоже вон ушли – так показалось (старому-то Джоби определенно показалось). Они с бабушкой вечно вот так – словно конюх с породистой кобылой, которая терпит до определенной точки, и конюх знает эту точку и знает, что должно произойти, когда эта точка достигнута. И вот произошло: кобыла лягнула его, не жестоко, но достаточно чувствительно; и он знает, что к этому шло, и рад, что это позади уже, как он думает, – и, лежа или сидя на земле, он отводит слегка душу руганью, потому что считает, дело уже кончено; и тут кобыла поворачивает морду – чтобы хватнуть его зубами. Так и у Джоби с бабушкой, и бабушка вечно его побивает – не жестоко, но чувствительно, как вот сейчас: он с Люшем уже входят в дом, и бабушка даже не смотрит вслед, и Джоби ворчит: «Я ж им говорил. Уж это даже ты, парень, не станешь оспорять», – и тут, глядя по-прежнему куда-то вдаль за повозку, как будто мы не едем никуда, а Джоби и вовсе нет на свете, бабушка произнесла, ни бровью не поведя, ни ухом – одними лишь губами поведя:

– И кровать на место к стене поставьте.

У Джоби не нашлось ответа. Он замер лишь, застыл, не оборачиваясь; потом Люш сказал спокойно:

– Шевелись, папка. Идем.

Ушли в дом. Нам с бабушкой на веранде было слышно, как они выдвигали сундук и ставили кровать на место и как медленно, тяжело, с тупым, глухим стуком сносили сундук, точно гроб.

– Поди помоги им, – сказала бабушка, не поворачивая головы. – Надо помнить, Джоби уже стар становится.

Мы подняли сундук в повозку, установили рядом с ружьем, корзинкой, где еда, и свернутыми одеялами и влезли сами, а бабушка поместилась на сиденье рядом с Джоби, – шляпка на макушке у нее строго вертикально, и зонтичек раскрыт, хотя даже роса еще не выпала. И поехали со двора. Люша не видно стало, но Лувиния все стоит с краю веранды в отцовской старой шляпе поверх косынки. Потом я перестал оглядываться, но Ринго, сидя со мной на сундуке, то и дело ёрзал, оборачивался, хотя мы уже выехали за ворота на дорогу. Миновали поворот, где прошлым летом увидели того сержанта-янки на каурой лошади.

– Вот и расстались, – сказал Ринго. – До свиданья, усадьба; здравствуй, Мемфис!

Солнце слегка лишь поднялось, когда вдали замаячил Джефферсон; а у дороги на лугу занята была завтраком рота солдат. Форма у них из серой стала уже почти цвета жухлой листвы, а кое на ком и формы уже не было; один – в синих трофейных штанах с желтым кавалерийским лампасом, как у отца прошлым летом, – помахал нам сковородой и крикнул:

– Эй, миссисипские! Да здравствует Арканзас!

У дома Компсонов бабушка сошла – проститься с миссис Компсон и попросить, чтобы та наезжала иногда в Сарторис, на усадьбу нашу, приглядывала за цветами. А Ринго и я поехали к лавке, и когда вышли оттуда с мешком соли, то увидели, что через площадь ковыляет дядя Бак Маккаслин, машет нам палкой и кричит, а за ним идет капитан, командир той роты, что расположена на лугу. Их у нас двое – я не про капитана, а про Маккаслинов говорю, – Амадей и Теофил, только все, кроме них самих, зовут их Бак и Бадди. Они братья-близнецы, застарелые холостяки, у них большая плантация на пойменной земле, милях в пятнадцати от Джефферсона. Отец их возвел там большой барский дом в колониальном стиле, один из самых пышных в крае. Но дом захирел, ибо дядя Бак и дядя Бадди не стали в нем жить. Ушли из него, как только умер их отец, и поселились в двухкомнатном бревенчатом домишке вместе с дюжиной собак, а в барском доме поместили своих негров. Он так и стоит без окон, и в дверях замки такие, что любой ребенок шпилькой отомкнет, но у Маккаслинов было заведено, чтоб каждый вечер, как негры придут с поля, один из братьев загонял их в дом и запирал переднюю дверь ключом почти с седельный пистолет размерами; он еще возится с тем ключом, а в это время

уже, может, последний негр ушел из дома черным ходом. В округе говорят, что Бак и Бадди сами всегда это знали, и негры знали, что они знают, но только это как игра с твердыми правилами: ни один из близнецов не должен засматривать на черный ход в то время, как второй близнец запирает переднюю дверь; а из негров ни один не должен хотя бы ненароком попасться, убегая, на глаза и не должен убежать после того, как дверь кончили запирать; и говорят, что те, кто не успел за это время выйти, сами отрешали себя от ночных прогулок до следующего вечера. Ключ вешали затем на гвоздь у двери, и братья возвращались в свой густо населенный собаками домишко, ужинали и садились за покер; говорят, что никто в штате, да и на всей Миссисипи, не рискнул бы сесть с ними играть, даже с уговором, чтоб не плутовали; а между собой они играли так – бестрепетно ставя на карту негров и возы хлопка, – что сам Господь Бог еще бы смог продержаться против каждого из них в отдельности, но против обоих даже он бы не выстоял и был бы ободран как липка.

Но не одним лишь этим отличались дядя Бак и дядя Бадди. По словам отца, они опередили свое время: по его словам, у них насчет общественных отношений свои идеи, которым сыщется ученое название разве что через полвека после смерти обоих Маккаслинов и которые притом проведены Маккаслинами в жизнь. Идеи эти – о земле. Маккаслины считают, что не земля принадлежит людям, а люди – земле и что земля терпит их на себе и питает, покуда они ведут себя как должно; а нет – так земля стряхнет их прочь, как собака блох. Маккаслины придумали систему хозяйственных расчетов, еще, наверно, более запутанную, чем их взаимные карточные счета, и нацеленную на то, чтоб все их негры обрели свободу – не бесплатно получили и не выкупили у Маккаслинов за деньги, а заработали у земли своим трудом. Но не только негров касались их идеи – и потому-то именно дядя Бак ковылял через площадь сейчас и махал мне палкой, окликаая; вернее, потому-то ковылял один, а не вместе с дядей Бадди. Отец как-то сказал, что если в округе возникнут между избирателями споры или вооруженные свары, то ни одно семейство не сможет тягаться с Маккаслинами, потому что (в округе внезапно это осознали) у всех одна поддержка – от родни, а за Бака и Бадди встанет целая армия фермеров. Этих мелких фермеров негры зовут белой швалью – рабами шваль не владеет и сама живет порою хуже, чем рабы на крупных плантациях. Земельные идеи Маккаслинов, пока что не имеющие, по словам отца, ученого названия, коснулись и этих белых фермеров: дядя Бак и Бадди убедили их возделывать свои клочки тощей холмистой земли не врозь, а объединив силы с неграми, с плантацией Маккаслинов; никому не известно в точности, что они тем фермерам взамен пообещали, но только жены и детишки фермеров стали ходить обутые (а прежде было им не привыкать и босиком), и даже в школу многие дети пошли. Как бы то ни было, белая шваль теперь боготворила обоих Маккаслинов, так что, когда отец стал набирать свой первый полк для похода в Виргинию и дядя Бак и Бадди приехали в город записываться и решено было, что они слишком стары (им перевалило уже за семьдесят), то чуть было не пришлось отцовскому полку принимать свой первый бой у нас на выгоне. Братья Маккаслины погрозились создать собственную роту из своих фермеров, отнявши их всех у отца. Но тут же поняли, что этим отца не проймешь, и тогда нажали по-другому, по-настоящему. Заявили отцу, что если не примет их в полк, то они объединенными солдатскими голосами белой швали принудят отца тут же на выгоне провести дополнительные выборы офицеров, причем сместят отца, понизив из полковников в майоры или даже в капитаны. Отцу-то все равно, как его будут величать, полковником или капралом, только бы слушали его команду, а уж Господь Бог может его и в рядовые понизить; но отца корбило при мысли, что сами люди, которых он ведет, вольны его сместить и даже, чего доброго, способны на такое оскорбление. Так что кончили компромиссом – согласились взять на войну одного из братьев. На том отец с Маккаслинами по рукам ударили и помирились; когда на следующее лето, после второй битвы под Манассасом, солдаты сместили отца, то маккаслиновцы все голосовали против смещения, и ушли за отцом из полка, и, вернувшись в Миссисипи, составили его иррегулярный конный отряд. Так

что одному из братьев предстояло оставаться дома, а кому именно, они решили сами – решили тем единственно возможным способом, при котором победивший знает, что победил по праву, а проигравший – что побежден сильнейшим, чем он сам; дядя Бадди взглянул на дядю Бака и сказал:

– Ладно, Фил, слабачина ты косорукий. Вынимай карты.

Отец рассказывал, зрелище это было редкостное по холодному, не ведающему пощады артистизму игры. Играть условились три партии покера; сдавать карты по очереди, а в третьей партии сдавать тому, кто выиграет вторую. Им постелили на земле попону, и весь полк смотрел, как они уселись друг против друга, а старые их лица были как одно лицо, не сразу, но всплывающее в памяти – лицо со старинного портрета, на который поглядишь и скажешь, что изображен пуританин-проповедник, живший где-нибудь в Новой Англии сотню лет назад; они сидели, даже как будто не глядя на рубашку сдаваемой карты и тут же называя ее без ошибки, так что приходилось по десятку раз пересдавать, прежде чем судьи могли быть уверены, что партнеры не знают друг у друга все карты. И дядя Бак проиграл – и теперь дядя Бадди служил в бригаде Теннанта сержантом, воевал в Виргинии, а дядя Бак ковылял через площадь, махал мне палкой и кричал:

– Да это же он, как бог свят! Сын Джона Сарториса!

Капитан тоже подошел, поглядел на меня.

– Слышал, слышал про твоего отца, – сказал он.

– Еще бы не слышал! – продолжал кричать дядя Бак. Идущие улицей люди стали уже останавливаться и слушать, пряча улыбку, как всегда, когда дядя Бак разойдется. – Кто же про него не слышал в нашем крае! Янки могут про него порассказать всем желающим. Да он же первым в Миссисипи собрал полк, причем на собственные деньги, и повел в Виргинию, и крушил янки встречных и поперечных, пока не обнаружил, что набрал не полк солдат, а драную ассамблею политиканов и дураков. Именно дураков! – прокричал он, потрясая палкой и пучась на меня свирепо-водянистыми, как у старого ястреба, глазами, а собравшийся народ слушал и украдкой улыбался, а капитан смотрел на дядю Бака чуть недоуменно, потому что не жил раньше здесь и впервые слышал дядю Бака; а мне вспомнилось, как Лувиния в старой отцовской шляпе стояла на веранде, и захотелось, чтобы дядя Бак кончил поскорее, замолчал и можно было ехать дальше.

– Именно дураков, скажу еще раз! – кричал он. – И пусть иные из стоящих здесь считают до сих пор своей родней тех, что выбрали его полковником и шли за ним и Джексоном Каменная Стена, и дошли до самого города Вашингтона – доплюнуть можно было, – и почти ни одного бойца не потеряли, а годом позже – верть! – понизили Джона в майоры, а командира вместо него выбрали такого, что заряжать ружье с которого конца не знал, пока Джон Сарторис ему не показал. – Он сбавил голос, кончил крик с такою же легкостью, как начал, но чувствовалось: дай только новый повод – и крик возобновится. – Я не стану тебе, мальчик, говорить: «Господь храни тебя и твою бабушку в пути», потому что, как бог свят, вам хранителей не надо; достаточно сказать: «Я сын Джона Сарториса. Брысь, мелкота, в тростники!» – и эти сучьи зайцы синебрюхие брызнут кто куда.

– А они что, уезжают? – спросил капитан.

И тут же дядя Бак опять перешел на крик – с прежней легкостью, даже дыхания не переводя:

– Уезжают? А как иначе, если их тут некому оборонить? Джон Сарторис – дурила чертов; ему доброе дело сделали, скинули с собственного полка, чтоб он мог вернуться домой и о семье заботиться, раз никто другой за него тут не почешется. Но Джону Сарторису это не подходит, потому что он отъявленный шкурник и трус и оставаться дома не желает, чтобы янки не сцапали. Да уж. До того ими напуган, что собрал заново отряд бойцов, чтоб защищали его всякий раз, как подкрадется к очередной бригаде янки. По всему краю рыщет, выискивает

янки, чтоб затем от них увертываться; а только я б на его месте подался обратно в Виргинию и показал бы новоизбранному полковнику, как люди воюют. Но Джон Сарторис не уходит в Виргинию. Он дуралей и трус. Только и способен рыскать да увертываться от янки, и вынудил их объявить за его голову награду, и теперь приходится ему усылать семью из края. В Мемфис отправлять; может, там вражеская армия о них будет печься, раз не хотят собственное наше правительство и сограждане...

Тут дыхание у дяди Бака кончилось – по крайней мере, кончились слова, и только тряслась еще запачканная жевательным табаком борода, и табачная струйка виднелась в углу рта, и палкой он размахивать не кончил. Я поднял вожжи; но заговорил капитан, по-прежнему глядевший на меня:

– Сколько у твоего отца теперь в полку?

– У него не полк, сэр, – сказал я. – Сабель пятьдесят, по-моему.

– Пятьдесят? – удивился капитан. – Пятьдесят? Неделю назад мы взяли одного янки в плен; он говорил, там больше тысячи. И что полковник Сарторис боя не завязывает, а угоняет лошадей.

Дядя Бак закатился смешком – немного отдышался уже, видно. Закудахтал, как наседка, хлопая себя по бедру, а другой рукой держась за колесо повозки, точно у него нет сил стоять.

– Вот, вот! Узнаю Джона Сарториса! Он добывает лошадей. А добыть самих янки – дело попроще; каждый дурак может. Вот эти двое сорванцов прошлым летом вышли из дому к воротам – и вернулись с целым полком янки, а лет им всего – сколько тебе, малец?

– Четырнадцать, – ответил я.

– Нам еще не исполнилось, – уточнил Ринго. – В сентябре исполнится, если будем живы-здоровы... Наверно, бабушка заждалась нас, Баярд.

Дядя Бак оборвал смех. Шагнул в сторону от колеса.

– Трогай, – сказал он. – Дорога у вас дальняя.

Я повернул мулов.

– И береги бабушку, малец, не то Джон Сарторис шкуру с тебя спустит. А не он – так я спущу! – Повозка двинулась вперед, и дядя Бак заковылял рядом. – Увидишь Джона – передай, пусть оставит лошадей на время и займется стервецами синегривыми. Пусть бьет их без пощады!

– Передам, сэр, – сказал я. Мы поехали дальше.

– Счастье его, что бабушка не слышит, а то заставила бы вымывать рот мылом, – сказал Ринго.

Бабушка и Джоби ждали нас у компсоновских ворот. У ног Джоби стояла еще одна корзина, прикрытая салфеткой; оттуда высовывалось бутылочное горлышко и черенки роз. Ринго и я пересели назад, на сундук, и Ринго снова то и дело стал оглядываться, приговаривая:

– До свиданья, Джефферсон! Здравствуй, Мемфис!

А когда выехали на первый загородный взгорок, он оглянулся и сказал тихо:

– А что как никогда не кончат воевать?

– Не кончат – ну и не кончат, – сказал я. И не оглянулся.

В полдень остановились у родника, и бабушка открыла корзинку, достала розовые черенки, подала их Ринго.

– Когда напьетесь там, смочишь корни в роднике, – сказала она.

Корешки были увернуты в тряпку, на них налипла земля; когда Ринго нагнулся с черенками к воде, я заметил, что он снял с них комок земли, чтобы сунуть в карман. Но поднял глаза, увидал, что я смотрю, и мотнул рукой, будто выбрасывая. Однако не выбросил.

– Захочу вот и оставлю себе эту землю, – сказал он.

– Но она не с нашей усадьбы, – сказал я.

– Знаю, что не с нашей, – сказал он. – Но все же миссисипская. У тебя и такой нет.

– А спорим? – сказал я. Он смотрит на меня. – Что дашь взамен? – сказал я. Он смотрит.

– Взамен за что? – спрашивает.

– Сам знаешь, – сказал я. Он сунул руку в карман, достал пряжку, что мы отстрелили от седла у янки прошлым летом, когда попали в лошадь.

– Ладно, давай сюда, – сказал он.

Я вынул из кармана табакерку и отсыпал ему на ладонь половину земли (она не просто усадебная, она с нашего поля виксбергской битвы – и в ней победный клич, осажденная крепость, изможденно-железные, несокрушимые воины).

– Я знаю, откуда она, – сказал он. – За коптильной взятая. А ты запасся будь спокоен.

– Да, – сказал я. – Чтоб до конца хватило.

Мы увлажняли черенки всякий раз, когда делали привал и открывали корзинку с едой; она еще и на четвертый день не вовсе опустела, потому что по крайней мере раз в день мы останавливались у дороги в знакомых домах и ели с хозяевами, а на вторые сутки ужин и завтрак у нас был в одном и том же доме. Но даже и тут бабушка не ушла в дом ночевать. Постлала себе на дворе в повозке, сбоку сундука, а Джоби лег под повозкой и рядом положил ружье, как и в те ночи, что мы на дороге ночевали. Верней, не на самой дороге, а отъехав слегка в лес. На третью ночь, когда бабушка лежала у сундука, а Джоби, Ринго и я – под повозкой, подъехали конные, и бабушка сказала: «Джоби! Ружье!» – и кто-то спешился, отнял ружье у Джоби, и зажгли пучок смолистых веток, и мы увидели, что форма на кавалеристах серая.

– В Мемфисе? – сказал офицер. – Туда вам не добраться. Вчера под Кокрамом был бой, и дороги кишат патрулями янки. Как эти сволочи... прошу прощения, мэм (за спиной у меня Ринго шепнул: «Неси мыло»)... как они вам дали доехать сюда невредимо, понять не могу. На вашем месте я и возвращаться не рискнул бы, а остановился в первом придорожном доме и переждал бы там.

– Пожалуй, мы поедem дальше, – сказала бабушка, – как велел нам Джон – полковник Сарторис. В Мемфисе живет моя сестра; мы направляемcя к ней.

– Полковник Сарторис? – переспросил офицер. – Вам велел полковник Сарторис?

– Я его теща, – сказала бабушка. – А вот его сын.

– Господи боже. Вам и шагу нельзя дальше, мэм. Поймите, что, захватив вас и мальчика, они почти наверняка принудят полковника к сдаче.

Бабушка – она сидела пряменько и уже надела свою шляпку – поглядела на него с повозки:

– Очевидно, у нас с вами разный опыт встреч с северянами. У меня нет причин думать, будто их офицеры – а полагаю, среди них и посейчас есть офицеры – станут обижать женщину и детей. Благодарю вас, но мой зять предписал нам ехать в Мемфис. Если вы располагаете сведениями относительно дороги, которые полезно знать моему вознице, то я буду признательна за сообщение их ему.

– Тогда я дам вам провожатых. Или нет, лучше всего поверните сейчас назад, в миле отсюда есть дом; подождите там. Вчера полковник Сарторис был у Кокрама; завтра к ночи я его наверняка найду и приведу к вам.

– Благодарю вас, – сказала бабушка. – Где бы ни был полковник Сарторис, ему, без сомнения, хватает собственных дел. Мы, пожалуй, продолжим поездку, как он нам велел.

И кавалеристы уехали, а Джоби вернулся под кузов и ружье положил между собой и мной; но каждый раз, повертываясь на бок, я наткался на это ружье и сказал, чтоб он убрал его; Джоби хотел его положить в повозку бабушке, но она не позволила, тогда он прислонил к деревцу, и мы доспали ночь и двинулись дальше, поев, и Ринго с Джоби опасно глядели за каждое остающееся позади придорожное дерево.

– За деревом, которое проехали, янки уже стоять не будут, – сказал я.

И верно – никто за деревьями теми не стоял. Миновали свежее пепелище, а когда проехали мимо другого дома, несгоревшего, то из-за дома, из ворот конюшни, глядела на нас старая белая лошадь, а в ближнем поле – я увидел – бегут человек шесть; и тут над тропой, пересекающей дорогу, поднялась быстрым облаком пыль.

– Видать, здешний народ сам навязывает янкам свою скотину – разве ж можно ее гонять вот так по дорогам среди бела дня, – сказал Джоби.

Из облака пыли выехали всадники и, не замечая нас, пересекли дорогу, – десять-двенадцать передних перемахнули уж кювет, напряженно держа пистолеты в руках (так несешь на ладони тростинку стоймя, оберегая ее на бегу от падения); но вот задний всадник явился из пыли и пятеро пеших, бегущих при лошади, – а мы сидим в повозке, и Джоби вожжи натянул, осаживая, так что мулы почти сели на вальки, и челюсть у Джоби отвисла, а выпученные белки – как два яйца вареных, и я успел уже с прошлого лета забыть, как те синие мундиры выглядят.

Надвинулось все это вмиг – дикоглазые потные кони, криколицые люди, – и бабушка, встав на повозке, лупит пятерых пеших зонтичком по головам и по плечам, а они рвут с вальков постромки, обрезают карманными ножами упряжь. Молча действуют – даже не глядят на бабушку, которая их зонтичком колотит; сдели с обоих мулов хомуты, и застлало их с мулами всех пятерых новым облаком пыли, а потом из облака из этого взвившимися ястребами вылетели мулы, и на них верхом двое, а еще двое съезжают, валясь, с крупов, а пятый бежит уже следом, и те двое, что свалились навзничь, поднимаются с земли в обрывках, клочках упряжи, как распиловщики в черных стружках. Все трое бегут через поле за мулами, и слышим вдали пистолетные выстрелы, точно спички зажигают сразу по десятку, а Джоби так и застыл на сиденье с разинутым ртом и обрезками вожжей в руках, а бабушка стоит в повозке, еще не опустив погнутого зонтика, и кричит, зовет меня и Ринго, спрыгнувших с повозки и бегущих за дорогу.

– В конюшню! – кричу ему. – В конюшню!

Взбегая к дому на бугор, мы мельком видели, как наши мулы скачут полем и те трое за ними бегут. А завернув за дом, к конюшне, и повозку нашу увидели: Джоби маячит на сиденье над голым дышлом, торчащим впереди, а бабушка стоит, грозя нам зонтичком, и – знаю – кричит, хоть ее и не слышно. Наши мулы ускакали уже в лес, но трое пеших бегут еще полем, и старая белая лошадь тоже смотрит на них из конюшни, а нас не замечает, но вот храпнула, дернулась назад и опрокинула копытом что-то – ящик с ковочным инструментом. На лошади веревочный недоуздок, привязанный к лесенке, что ведет на сеновал, а на земле трубка лежит недокуренная и даже еще не погасла.

Мы взобрались на лесенку, а с нее на лошадь, и когда выехали из конюшни, то еще видно было тех троих солдат; но у ворот мы замешкались, пока Ринго слезал и отворял их и опять на коня влезал, – и солдат не видно стало тоже. Когда мы подрысили к лесу, их уже и след простыл, и не слышать ни звука, только конь натужно шумит нутром. Мы пошли тише, потому что старый этот конь снова на быстрый аллюр перейти уже не мог, и на ходу прислушивались, – и лишь почти уже к закату выехали на какую-то дорогу.

– Вот тут они прошли, – сказал Ринго, и я увидел следы мулов. – Обоих наших тут следы – и Тестя, и Стойка. Я их где хочешь признаю. Они сбросили янков с себя и домой теперь правят.

– А ты уверен? – спросил я.

– А то нет. Я же всю жизнь с этими мулами. Что ж я, по-твоему, следов не знаю ихних?.. Веселей, коняга!

Мы поехали дальше, но конь идти быстро не мог. Потом луна взошла, но Ринго говорил по-прежнему, что видит следы наших мулов. И мы ехали дальше, только теперь коняга шел еще тише, и вскоре Ринго задремал и слетел бы наземь, если б я не поддержал, а чуть погодя уже Ринго меня подхватил – я и не заметил, как заснул. Который час, мы не знали, и нам все равно было; но какое-то время спустя конь наш гулко и неторопливо простучал копытами по доскам, и мы свернули с дороги, привязали недоуздок к деревцу; должно быть, заползали мы

под мост уже спящими, и обоих нас во сне тянуло лезть, бежать куда-то. Потому что если б до конца лежали неподвижно, то они б нас не заметили. Я проснулся – снились мне раскаты грома, и сон словно продолжался. Светло было; даже под мостом, в гущине бурьяна, мне и Ринго ощутилось, что восходит солнце; но в первый миг мы просто вскинулись от грохота – над нами густо барабанили подковы по шатучим доскам настила; мы сели, глядя друг на друга в бледно-желтом свете и не совсем еще очнувшись. Вот потому-то вышло так – мы, может, еще спали, были врасплах застигнуты во сне и не успели ни о чем подумать и сообразить, как быть, если над нами янки, – и выскочили из-под моста, побежали бессознательно, беспамятно; я оглянулся на бегу (мост и дорога обок футов на пять, на шесть приподняты над местностью), и мне почудилось, что весь этот горизонт заполнен движущимися по небосклону лошадьми. Затем все сгустилось, слилось, как вчера; не чуя под собой бегущих ног и шипов и колючек не чувствуя, мы нырнули по-кроличьи в ежевичную заросль и легли там ничком, а вокруг зашумели люди, затрещали ветвями лошади, и чьи-то твердые руки выволокли нас, царапающихся, брыкающихся, ничего не видящих, из кустов и поставили на ноги. Тут зрение вернулось к нам, стоящим в кольце конных и спешенных людей и лошадей, – и на бездыханную, блаженную минуту нас обдало волшебным, росистым покоем и миром. Я узнал Юпитера, большого, неподвижного в рассвете, как бледное, недвижно зачарованное пламя, – и тут отец затряс меня, воскликнул:

– Где твоя бабушка? Где мисс Роза?

И пораженно ахнул Ринго:

– А мы ж про бабушку забыли!

– Как забыли? – вскричал отец. – То есть убежали, бросили ее в повозке посреди дороги?

– Ой, хозяин Джон, – сказал Ринго. – Да вы же знаете, к ней никакой янки не сунется, если у него хоть капля мозгу.

Отец выругался.

– И далеко отсюда вы ее оставили?

– Это вчера днем было, часа в три, – сказал я. – Мы и ночью потом ехали немного.

Отец повернулся к своим.

– Ребята, посадите их кто-нибудь двое к себе за седла, а лошадь поведем на поводу. –

Оглянулся на нас. – Ели вы что-нибудь?

– Ели? – сказал Ринго. – Мой живот уже решил, что у меня глотка напрочь перехвачена.

Отец достал из седельной сумы кукурузный хлебец, разломил пополам, протянул нам.

– Где вы взяли этого коня? – спросил он.

Помявшись, я сказал:

– Он одолженный.

– У кого одолженный? – спросил отец.

Мы помолчали, потом Ринго сказал:

– Мы не знаем. Там не было хозяина.

Один из солдат засмеялся. Отец коротко глянул на него, и смех утих. Но лишь на минуту, потому что все вдруг захохотали, а отец только переводил взгляд с солдата на солдата, и лицо его краснело все сильнее.

– Не сердчай, полковник, – сказал один. – Ур-ра Сарторису!

Мы поскакали назад; езда оказалась недолгой; вскоре открылось перед нами поле, по которому бежали вчера те люди, и дом с конюшней опять виден, а на дороге все еще лежат обрезки упряжи. Но повозки нет. Отец сам подвел конягу к дому, постучал пистолетом о крыльцо, но, хотя дверь была по-прежнему распахнута, никто не вышел. Мы поставили коня на старое место в конюшню; трубка так со вчера и валялась у опрокинутого ящика с ковочным инструментом. Вернулись на дорогу, и отец остановил Юпитера среди обрезков и обрывков упряжи.

– Ох вы, мальчишки! – сказал он. – Ох, чертовы мальчишки!

Двинулись снова в путь, но уже потише; трое ехали дозором где-то впереди. Днем вернулся галопом один из дозорных, и, оставив с нами трех бойцов, отец урысил с остальными; воротились они почти уже к закату на припотевших лошадях и ведя в поводу еще двух с синими армейскими подседельниками и с выжженным на бедре клеймом «США».

– Говорю же вам, что янкам бабушку не остановить, – сказал Ринго. – На спор иду, она уже в Мемфису.

– Ваше счастье, если это так, – сказал отец. – Садитесь с Баярдом вот на этих, – указал он на новых лошадей. Ринго пошел садиться. – погоди, – сказал отец. – Твой вон тот.

– Он, значит, мой собственный?

– Нет, – сказал отец. – Одолженный.

Мы все, остановясь, глядели, как Ринго садится на своего коня. Тот стоит сперва не шевелясь, но, ощутив на левом стремях тяжесть Ринго, тут же как крутанется – и встает к Ринго правым боком; первый такой круговой поворот кончился тем, что Ринго растянулся на дороге.

– Ты садись на него справа, – подсказал отец, смеясь.

Ринго посмотрел на лошадь, на отца.

– А почему не слева, как на всякого коня? Что янки не люди, я знал, но не знал, что у них и лошади не лошади.

– Садись давай, – сказал отец. – Конь слеп на левый глаз.

Уже стемнело, а мы всё едем, потом я вдруг очнулся – кто-то придерживает меня в седле, и стоим под деревьями, горит костер, но какая уж там еда – мы с Ринго уснули тут же, – и снова утро, и все уже уехали, кроме отца и еще одиннадцати человек; мы так и простояли в том леске весь день.

– А теперь что? – спросил я.

– Теперь доставлю вас, чертят, домой, а оттуда придется мне в Мемфис – бабушку твою искать, – сказал отец.

Темнело, когда мы тронулись в путь; понаблюдали, как, зря попрыгав слева, Ринго садится в седло, и поехали. Остановились, когда начало светать. На этот раз не стали разводять костер; даже коней расседлали не сразу; залегли, затаились в лесу, а потом отец разбудил меня тихо рукой. Солнце уже поднялось; мы лежали и слушали, как по дороге идет пехотная колонна янки, и после я опять заснул. Проснулся в полдень. Горел костер, и поросенка пекли на огне, и мы поели.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.